

Евгений Плоткин
Университет Бар-Илан, Израиль
Воспоминания о матмехе

Часть 1. Поступление

*Палач не знает роздыха!...
Но все же, черт возьми,
Работа-то на воздухе,
Работа-то с людьми.*

В. Вишневский

Несколько лет назад я позвонил своему другу в Ленинградский, а ныне Санкт-Петербургский, университет.

– Андрей, – сказал я, – Андрей, у меня к тебе неожиданная просьба. Как ты думаешь, можно поднять ведомости приемной комиссии по физике за 72-й год и узнать, кто у меня принимал экзамен?

– Зачем тебе это надо? – ответил Андрей. – Хотя в принципе можно, но зачем тебе это сейчас?

– Понимаешь, хочу найти одного гада и убить.

– Вот так и убить? Ты же мирный человек.

– Ну, не знаю, может, не убить, может, сначала в глаза ему посмотреть. И, если получится, спросить, как и зачем он это тогда делал. А дальше как пойдет, видно будет.

– Понятно, – сказал Андрей, – ты спятил, но я попробую. Ты не помнишь, как его звали?

– Помню, отчего же, помню, что-то хищное, похожее на «Акулов», я его потом встречал пару раз в универе, каждый раз вздрагивал.

– Ну ладно. Подожди немного, не убивай никого без меня, – сказал Андрей и отключился.

Через пару часов раздался звонок из Питера.

– Я думаю, я знаю, кто это был и кого ты ищешь. Я пришлю тебе сейчас информацию. Но убить его ты не сможешь.

– Почему?

– Он уже умер.

– Сдох, – пробормотал я.

– Можно и так, – ответил Андрей, – дела это не меняет.

Через пять минут он прислал мне е-мэйл с фотографией. На меня смотрело то самое лицо, только постаревшее. Я мгновенно вспомнил детали, как все это было.

Я поступил на матмех Ленинградского университета в 1972 году. Это событие полностью повернуло мою жизнь, дало семью, близких друзей, определило эстетические и культурологические взгляды, сформировало научные интересы. Всего этого могло бы и не быть, если бы тот мерзавец, что мучил и издевался надо мной на вступительном экзамене по физике, не дал слабину. Случилось так, что он поставил мне тройку вместо predetermined двойки. Случилось... Случайно даже кошки не рожают! Он просто измотался, добывая несколько часов кряду отчаянно сопротивлявшегося предыдущего еврея, и решил, что меня пришибут на сочинении – отработанный в приемной комиссии метод. А иначе возись сейчас со мной, устраивай весь этот цирк с задачами и ответами, таковы правила игры – нельзя сразу сожрать мышку, надо ее сначала ухайдакать. Устал он, просто по-человечески устал.

Короче, тройку он мне поставил, отправив по этапу к «девушкам» из комиссии по русскому и литературе. Там ведь все было проще, «тема не раскрыта» – и желаемые два балла как на блюде. Не вышло... Зенон Иванович Борович не дал, я получил пятерку за Блока с Есениным – «В белом венчике из роз – впереди – (как водится) Исус Христос» – и поступил на матмех.

Прошло 48 лет, почти полвека... Вчера я впервые говорил по телефону с тем самым парнем, который тогда, в июле 72-го – не «в августе 44-го», как у Богомолова, не на войне, а вполне обычным летом 72-го – умотал вусмерть негодяя из приемной комиссии и, получив двойку, дал тем самым возможность моей жизни пойти своим чередом.

Зовут его Саша Колдобский, теперь он, конечно, Саша только для друзей, а так – профессор Университета Миссури – Колумбия, известный ученый, автор нескольких монографий и множества статей Александр Колдобский.

Мы с ним никогда не были знакомы, ну разве что по транзитивности, никогда не разговаривали, никогда не встречались, хотя ходили, в общем-то, по одним – глобально – дорожкам, может, даже сталкивались в коридорах где-то в Питере или, позднее, в Бар-Илане, сами того не зная. Так, по касательной, сошлись наши судьбы в 72-м и разошлись, но след остался навсегда. Меня все годы мучила детерминированность того, что произошло. Как у Брэдбери – «эффект бабочки». Если бы Саша не знал блестяще физику, не отбивался отчаянно и не взял удар на себя – вlepили бы мне двойку, даже не икнув, и все – полное фиаско. Как там сложилась бы судьба, сидел бы я сейчас, писал бы эти воспоминания – никто не знает. В общем, Саша оказался, сам того не желая, кем-то вроде Александра Матросова, но только относительно мирных дней...

Всю жизнь мне хотелось найти двух людей из далекого 72-го: Сашу и мерзавца-экзаменатора. Наверное, случился какой-то шок, инграмма – годы шли, чего только не было, но память о том экзамене жгла не хуже пепла Клааса.

И вот я смотрю на информацию, присланную Андреем из Университета. Звали физика Ащеулов Станислав Владимирович, доцент. И далее: «Более сорока лет он является членом предметной комиссии университета по физике, принимает активное участие в общественной жизни кафедры и факультета. Его отличает обостренное чувство справедливости...»

М-да, похоже, действительно он. Вот как это было в 72-м.

Жаркий летний день. Я зашел в аудиторию, где принимали физику, взял билет, осмотрелся. Попытался успокоиться. Не вышло. Назойливо жужжала муха, пролетая над комиссией и с размаху плюхаясь в проем между оконными стеклами. В комиссии было двое: один начальник, второй просто принимал экзамены. Хотя вроде бы кто-то третий спрашивал студентов сзади за партой. У меня в билете были электромагнитное поле, что-то про скорость и ускорение и задача на закон Ома. В общем – стандарт, который я знал назубок. Время пошло, я начал писать. Минут через 40 я обратил внимание, что оба преподавателя все время кучкуются около худощавого парня и задают ему бесконечные вопросы. Парень ходил на «мальчика Мотла»,

и коню было понятно, почему они в него так вцепились. Я дописал экзамен и, выждав момент, рванул ко второму из преподавателей, который показался мне более нормальным. Но «главный» был на чеку.

– Сидите, – сказал он, – вам ко мне.

Я сел и стал слушать. «Мальчик Мотл» явно знал физику лучше меня и, думаю, не хуже тех, кто его спрашивал. У него были третий закон Ньютона, напряженность электрического поля и неизвестная мне задача. Главный спрашивал, парень отвечал. Видно было, что нашла коса на камень. Периодически «главный» смотрел чуть в сторону, быстро и цепко охватывая взглядом аудиторию. Потом возвращался к экзекуции. Вид у него был усталый. Так прошел по меньшей мере еще час. Муха затихла между стеклами, перестала жужжать и, видимо, просто загнулась. Многие уже ответили незаметному третьему экзаменатору. А эти все бесновались около «мальчика Мотла».

– Скажите, что такое сила, – спросил Ащеулов.

Услышав ответ, он сказал:

– Вот, не знаете. А как вы можете отвечать про напряженность электрического поля, если не знаете, что такое сила. И задачу не решили.

– Решил я задачу, – сказал «Мотл». – Вот решение.

И в самом деле, он решил задачу, поскольку решал ее же на выпускном экзамене в математическом 45-м интернате.

– Не решили, – сказал Ащеулов. – Подумайте еще, – и ушел, явно отдохнуть.

Я снова дернулся ко второму экзаменатору.

– Сидите, – не оборачиваясь, через плечо сказал уже из дверей Ащеулов.

«Сволочь», – подумал я.

В это время муха вдруг ожила. Ащеулов вернулся, подошел к окну и задумчиво посмотрел на муху, на меня и на экзаменуемого. Очевидно, раздумывал, что делать с каждым.

– Вернемся к задаче, – сказал он.

Склонился над «Мотлом», но делать ничего не стал, так как все там было, конечно, правильно. Ему нужна была передышка, и он взялся за меня. Не читая ответа, сказал:

– Начнем с задачи.

И снова проблема – у меня тоже была решена правильно задача. Он вернулся к Колдобскому.

– Ну, задача у вас решена верно, но определения силы вы не знаете, а значит, не знаете физики, – и вlepил ему пару, как прихлопнул. Звучало это как «лавочка закрывается, представление окончено».

Потом подошел ко мне и опять, не глядя на то, что у меня было написано, спросил :

– Что такое уравнение Максвелла?

Я знал, что это такое, у нас в физматшколе все нормальные это знали, и сказал ему. Ащеулов открыл рот и закрыл его, задумавшись. Подошел к окну, опять посмотрел на муху, на подель-

щика-помощника, на мой экзаменационный лист, на меня. «Сейчас будет звездац, – подумал я, – полный звездац, что бы я ни говорил». Но все-таки сказал:

– Посмотрите, у меня тут ответы на все вопросы.

К моему изумлению, Ащеулов снова вышел в коридор. Я опять рванулся к его помощнику.

– Сидите, – сказал тот, – сейчас вернется ваш экзаменатор.

Хорошо помню, как во мне поднималась ярость. Ясно было, что они утопили очень сильного человека и теперь отдыхают. Я решил, что буду говорить громко и уверенно. Вернулся Ащеулов, чем-то довольный. «Сволочь», – снова подумал я и сказал:

– Я все проверил, у меня все верно, и вот уравнение.

– Физики вы не знаете, – сказал Ащеулов любимую фразу. – Знания ваши поверхностные, ну да ладно, три балла.

По-моему, второй экзаменатор был не менее изумлен, чем я. Но менее обрадован.

Я вышел в коридор, там стояли мои родители, на них лица не было.

– Что?

– Тройка, – сказал я.

По-моему, они сразу даже не сообразили, что так выглядит счастье. Потом мама сказала:

– Перед тобой вышел еврейский мальчик с совершенно растерянным видом. Кто-то его спросил: «Сколько?» Он ответил «пара» с такой интонацией, будто он сам не понимает, как ему могли вклеить пару. «Я все ответил, – сказал паренек кому-то, – но поставили двойку»...

Поэтому мои родители были уверены, что и меня завалят. Но «пара» Колдобского обернулась моей тройкой.

Дома я показал свой экзамен полковнику Дубовскому, у которого иногда консультировался перед экзаменом. Полковник принадлежал к настоящей военной интеллигенции – таких много было в моем детстве, прошедшем среди комсостава Высшего военно-воздушного ракетного училища. Помню, как у Дубовского заходили желваки на скулах и напряглось лицо.

– Мерзавцы, – сказал он, – подонки.

И позвонил моему папе.

– Борис Исаакович, – сказал он, – я проверил экзамен Жени, там все правильно! Это невозможно, вы должны подать апелляцию, это настоящий бандитизм.

Тогда мой папа позвонил Зенону Ивановичу Боревичу, с которым был прекрасно знаком:

– Зенон Иванович, мы не знаем, что делать, идти подавать апелляцию или нет.

Зенон всегда умел молчать и знал, когда и как это надо делать. Поэтому он молча выслушал моего отца и сказал коротко:

– Никуда не идите, нет смысла. Пусть спокойно готовится к сочинению. И все.

Прошли годы, много после защиты я как-то спросил Боревича, что там произошло на сочинении, почему я получил пятерку, а не двойку. Зенон Иванович сказал:

– Неважно.

– Ну все-таки, – настаивал я, – что вы сделали?

К моему счастью, Зенон уже выпил к тому времени, иначе ни за что бы не ответил, я его знал хорошо.

– Ну ладно, я сходил в экзаменационный отдел и снял пометку с вашей фамилии, – сказал он.

– Какую пометку? Работы шли под шифрами, кем и когда они метились? – настаивал я.

– Оставьте, Женя, – сказал Зенон, – дело прошедшее, такое было время.

Я не стал больше настаивать и перевел тему разговора.

Зачем я все это описываю, вспоминаю ушедшее... Может, его и не было вовсе, как считает мой друг и учитель, профессор Николай Александрович Вавилов. Не было ничего – и сразу настали современные, для кого-то счастливые времена. Непростой вопрос. Я, конечно, не имею в виду гротеск и эпатаж Коли Вавилова, все гораздо сложнее. Меняются поколения, но остаются этика и мораль. Конечно, 72-й год, романовский Ленинград – это совсем не 37-й и даже не 52-й. Никто никого не убивал, не расстреливал, не готовил теплушки. Так, вяло издевались, где могли. На самом деле, нынешнее поколение не знает, кто такой первый секретарь Ленинградского обкома партии товарищ Романов и какая в Питере при нем была обстановка. Ну, был еще один функционер и сгинул в водах истории. Колесо крутится, телега катит. Возможно, пришло время прощать...

С другой стороны, наверное, надо писать, писать поименно, писать, пока память еще достает волчью атмосферу ушедших годов. Писать просто потому, что так было – и люди должны знать, как именно было. Надо описывать беспредел ВАКа 70-80-х, с именами, с заказчиками и исполнителями. Мне повезло – Зенон Иванович Боревич был осторожный и мудрый человек. Он брал еврейские диссертации для защиты в Университетский совет, но предварительно подкладывал пушистую кучу соломы из выполнения различных условий. Потому что понимал, что иначе – съедят. В частности, он не брал новую еврейскую диссертацию, пока предыдущая не пройдет через ВАК. Так я ждал год утверждения диссертации Вени Штейнбука. Нормальные приколы тех лет. Боревич знал, что и как надо делать. Так что действительно повезло.

В 73-м году Боревич стал деканом. Поэтому, или по какой-то другой причине, евреев на вступительных экзаменах по математике не валили, а если и валили, то вяло и без всякой страсти. Говорят, занимался этим доцент Малолеткин, Гена Малолеткин. Занимался плохо, вместо четверки ставил тройку, двойки были исключением. Попал он в эту передрыгу случайно, как кур в ошип. Гена выпивал – и, выпивая, уже ничего не соображал. Раз попал в вытрезвитель, второй... Тут-то его и вызвали ответственные товарищи и сказали: так, мол, и так, лицо вы себе испортили, учить молодежь строить коммунизм вы не можете, так что либо делайте то, что вас просят, либо – извините. Как я понимаю, Малолеткин не особенно возражал против предложения, делал, что ему поручили, и, возможно, даже получал некое удовлетворение от такой новой общественной нагрузки. Надеюсь, все же делал скорее волею обстоятельств, а не по велению души, поэтому математику все, как правило, проходили. Настоящие бандиты были на физике и на сочинении.

То, о чем я пишу – типичная, проходная история. Таких тысячи и тысячи. Этот текст готовит к печати моя однокурсница Верочка Чернякова, в девичестве Верочка Рафальсон. Ее тоже заваливали на физике. Не знаю, заваливал ли сам Ащеулов или какой-то изоморфный ему гад. Опять та же песня: «Не знаете вы физику». А у нее был в билете тот самый вопрос, за который она получила пятерку в 239-й физматшколе... Она уперлась и сказала преподавателю об этом открытым текстом. И получила тройку, как и я. Но ее завалили на сочинении с фирменной

формулировкой: «Тема не раскрыта». Она пошла на апелляцию. Поговорили – здесь запятая, там запятая... В какой-то момент, оставшись наедине с ней, преподаватель неожиданно говорит: «Ну, и чего вы пришли? Сами не понимаете, что зря?» «Вот пришла, – говорит Верочка. – Для самоудовлетворения». «Ну и как, – сказал литератор, – самоудовлетворились? Теперь можете идти».

Вера пошла на вечерний. Та же песня. Снова после математики ее пытаются завалить на физике, снова двойка преподавателей ее мурыжит, но один из них «главный», а второй – человек или, по крайней мере, рудимент человека. Видя, что Вера сделала абсолютно все и дала три решения для задачи, и что безумие все это, второй экзаменатор в тот момент, когда главный куда-то отлучился, наклонился к ней, закрыл экзаменационный лист руками и тихо-тихо сказал:

– Я вам ставлю вот что...

Вера посмотрела, там была тройка. Потом так же тихо добавил:

– Уходите, я сам внесу оценку в экзаменационные ведомости.

Так было... Всякое было. И везло, и не везло, кому как. После издевательств кто-то все же проникал на матмех, кто-то попадал в армию, кто-то поступал в легитимные романовские места вроде Герценовского института, кто-то пропадал для учебы и науки.

Судьба Саши Колдобского сложилась относительно благополучно. Он поступал в универ на вечерний, где его снова заваливала та же бесстыжая «сладкая парочка». Ну, в самом деле, какую еще оценку заслуживает отличник физико-математического интерната, кроме двойки! Он же совсем физики не понимает... В итоге он поступил в Финансово-экономический, перевелся в Герценовский, стал работать над разными сложными задачами, еще будучи студентом; отрубив полтора года в армии, без всяких аспирантур сразу же защитил диссертацию в 82-м году. Ну и стал тем, кем был создан – ученым. С 90-х годов он профессор в Америке. Кто теперь помнит тех, кто его гнобил, куда их смыла пена времени. А Сашины работы читают и будут читать. В общем, типичная история на тему «нас еб@т, а мы крепчаем»¹. И слава Богу! Тот июльский день 72-го года он вспоминает спокойно. Плохой был день. А ко всему прочему еще и Зенит проиграл Спартаку 0:1...

В итоге на нашем курсе было около 400 человек математиков, механиков, астрономов. Из них всего четыре еврея. Кроме меня, еще Саша Вольберг и еще кто-то, не помню кто. Было также с десяток половинок, четвертинок и других подобных. То есть около одного процента евреев, много меньше трехпроцентной царской официальной нормы. Потом, на втором курсе и на третьем, появились ребята с вечернего, с заочного, из других республик. Та же Верочка Рафальсон, Марик Розенгауз, Боря Кунин и другие. Внутри матмеха все уже было как-то проще. Но не поступление.

Помню, на картошке ко мне подошел Саша Меркурьев (ныне профессор Александр Меркурьев, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) и спросил:

– А как ты прошел физику?

Я ответил:

¹ Я со школьных лет знал эту сакраментальную фразу. Но лишь недавно мой одногодок Ефим Зельманов, ныне академик Американской и других академий, лауреат Филдсовской премии, вкусивший, как и мы все, прелестей поступлений-защит 70-80-х, но только в Новосибирской упаковке, сказал, что на самом деле существует ее важное продолжение, написанное И. Иртеньевым: Нас еб@т, а мы крепчаем // И того не замечаем, // Что, покуда нас еб@т, // Годы лучшие идут. (Игорь Иртеньев, «Хозяйке на заметку», 1989 г.)

– Повезло... Случайно повезло.

Что сказать, Саша Меркурьев и Саша Колдобский – друзья и одноклассники по 45-му интернату. Саша понимал, что спрашивал.

Времена меняются. Иногда я рассказываю о том, что было, своим студентам в Тель-Авиве. Не понимают. Вернее, может, что-то и понимают, но головой, а в сердце ничего не заходит. Да что там в Тель-Авиве! В Петербурге, в Москве молодежь толком ничего не знает, а если знает, то не чувствует. И хорошо, очень хорошо. Может, это все ушло и не вернется?

Хотя сомневаюсь. Из курса дифференциальных уравнений и матфизики я твердо усвоил, что любой процесс, описываемый этими уравнениями, имеет решение в виде периодической функции. В частности, это относится и к социальным процессам. Так что поживем – увидим.

На этой благодатной ноте я собирался как-то закончить этот болезненный рассказ. Не выходит, не получается. Ащеулов, конечно, был мерзавцем. И руки у него и ему подобных были по локоть в крови. Но все-таки он был «шестерка». Как и Малолеткин, как и вся приемная комиссия по литературе. Настоящих кукловодов мы так и не знаем. Была страна, в которой процветала иерархия кукол. Сверху дергали за веревочки, и весь театр марионеток дружно пританцовывал. Мы не знаем, почему в этой обстановке разнузданности в некоторые университеты или научно-исследовательские питерские институты все-таки брали евреев. Может, это Романов так забавлялся? Или он тоже был куклой у своего персонального кукловода?.. Все это называлось обществом развитого социализма.

Дикий антисемитизм на вступительных экзаменах в Ленинградский университет с конца 60-х до середины 80-х был составной частью этого общества. Конечно, хочется, чтобы когда-нибудь чучела «ащеуловых» выставили в музее зоологического антисемитизма. С табличкой: «Род – мерзавец. Вид – антисемит обыкновенный, европейский». И далее – «Занесен в Красную книгу, популяция находится на грани вымирания. Охраняется государством. К сожалению».

Часть 2. Общага

*Походкой неспешной прошествует время,
Стирая детали шершавой рукой,
Но свежесть студенческих тайных вечеров
Немеркнувших нес и несу я с собой.*

*Как все это знаем, зримо и хрупко,
Что кажется – можно рукою достать,
Поднять с рычага телефонную трубку,
Дождаться сигнала и номер набрать.*

М.М. Кубланов

Общага гудела. Это было ее привычное состояние, ее образ жизни. Жизнь в общежитии номер восемь, а по-простому «Восьмерке», кипела круглосуточно. Казалось, что само здание периодически подрагивает от переполняющих его страстей. Что-то все время происходило, жизнь была прекрасна.

Матмеховское общежитие располагалось на улице Детской, напротив бывшего кольца шестого трамвая, рядом со Смоленским кладбищем и заводом Козицкого. Мне посчастливилось про-

жить в нем несколько лет. Это были годы, наполненные энергией, познанием мира и просто счастьем.

Общага гудела. Я жил на втором этаже. На четвертом жил иссиня-черный сенегалец и периодически варил свою сенегальскую еду. Я как-то видел это варевое – то, что варила Баба Яга в фильмах Александра Роу, просто отдыхает. Так или иначе, как только сенегалец заваривал свой суп, все тараканы четвертого этажа выстраивались в боевые порядки и маршевыми ротами по трубам устремлялись к нам на второй. По дороге к ним присоединялось все тараканье население третьего этажа, а также всякая прочая большая и малая живность. Это походило одновременно на исход и «Книгу джунглей» Киплинга в той ее части, где он описывает пожар в джунглях.

Вообще пруссаки были частью нашего существования, с ними мы жили, спали, учили матанализ и диффуры.

Какое-то время в нашей комнате жило пять человек при четырех кроватях. Никого это особенно не напрягало, всегда кто-нибудь сидел за столом и занимался до утра. Но все-таки чемпионом по сну был Ванечка Шарыгин. Комната наша была интернациональная – чуваш, поволжский немец, азербайджанец, русский, ну и я. Жили душа в душу. Ванечка был из глухой чувашской деревни, с бешеной природной тягой к знанию. В младших классах он ходил в школу на лыжах, чуть ли не десяток километров. Потом оказался в московском математическом интернате, потом на матмехе. Он хотел знать все, особенно то, что ему недодали в непростом, прямо скажем, детстве. Занимался он истово. Но как любой нормальный человек, несмотря на все цифири, периодически хотел спать. И вот Ваня соорудил конструкцию. На полочке над изголовьем кровати ставилась кружка с водой. К ней за ручку, внатяг, была прикреплена суровая нитка, привязанная к заводу будильника. Ванечка ложился спать в 12 ночи, ставил будильник на три ночи. Конструкция была простая – будильник звонит, его завод, то есть ключ, проворачивается, тянет за собой нитку, нитка кружку, кружка опрокидывается и поливает Ваню водой, Ваня по идее просыпается. В ту ночь в комнате никто не спал, все ждали, когда эта адская машина сработает. Все сложилось к трем ночи как нельзя лучше, будильник сработал, кружка повисла и окатила Ваню водой. Ноль внимания, фунт презрения – Ваня спал. Но минут через 10 вода стала испаряться, Ване стало холодно, и он, не просыпаясь, стал искать сухой угол. Еще через десять минут у него сработал инстинкт, Ваня с закрытыми глазами приподнялся над мокрой подушкой и так же с закрытыми глазами перевернул ее сухой стороной кверху. По его лицу расплылась блаженная улыбка, он спал как младенец.

Иногда он просто просил его разбудить. Дело это было небезопасное, запросто можно было получить тапком по морде – со сна Ваня бывал ужасен. Единственным человеком, кто мог его укротить, была Аза Дзагоева. Аза приехала откуда-то с Кавказа и очень походила на горную серну. До сих пор помню, как на Валааме мы спешим по прибрежным камням к кораблю, и все ползут, как могут, а Аза перепрыгивает с камня на камень, как будто для нее все площадки на скользких камнях уже выставлены заранее. Так вот, иногда Аза приходила к Ване Шарыгину для того, чтобы его разбудить. «Ванечка, – говорила она ласково, – Ванечка, пора вставать». Ваня, как всегда не открывая со сна глаз, просыпался. «Ванечка, – говорила Аза, – пора идти, уже мало времени». Ванечка все так же с закрытыми глазами приподнимался над кроватью. Больше всего это напоминало Индию. Аза выступала в роли факира с дудочкой, а Ваня – в роли кобры, все это вместе смахивало на сеанс гипноза. Впоследствии они поженились, потом развелись.

Коля Сартисон был, как мне кажется, из поволжских немцев. Был он старше нас, после армии, отличался неторопливой рассудительностью и основательностью изучения всего. Хорошо помню, как Коля курит и не спеша перелистывает очередной конспект, страницу за страницей, страницу за страницей. Почему-то этот процесс у меня всегда ассоциировался с песочными часами, сам не знаю, почему.

Замечательный, добрейший Самед Султанов приехал из Азербайджана. По-моему, его и еще одного парня по фамилии Талыбов перевели к нам на втором курсе. В какой-то момент в Самеда влюбилась некая девушка, на курс нас младше. У нее была кофточка, симпатичная девушка с симпатичной кофточкой на восьми кнопках. Почему на восьми – да потому, что они расстегивались ночью подобно взрыву патрона в темноте, и все считали, когда же все это кончится и можно будет спокойно заснуть. Только задремлешь, и вдруг – бац, вторая пошла. Через десять минут – третья. Скорее, Самед, скорее, вперед, кончай канонаду, всем спать хочется.

Периодически в комнате спали Толик Емельянов и Иозас Никштас, но они быстро вылетели. Иозас привозил из своего литовского села домашнюю сметану. В нее можно было ставить нож, ее можно было резать кубиками. Мне, выросшему в Латвии, это было бальзамом на душу, а ленинградское «молодой человек, выпейте стакан сметаны» всегда вызывало изумление. Это же сметана, как ее можно пить?!

Напротив была комната, где жил Володя Халин, сейчас профессор Владимир Георгиевич Халин. Володя был божественный красавец, высокий, стройный, спортивный. Был такой актер Олег Видов, эталон красоты советского кино 60-х. Так вот, он по сравнению с Володией просто шимпанзе. Володя отлично бегал, высоко прыгал. Как-то все это сочеталось с математикой. Мы познакомились в колхозе, в деревушке Ям-Тесово, сразу после поступления. На ящике для сбора картошки сидел парень в запыленных сапогах и что-то сосредоточено писал черенком от лопаты. Заинтригованный, я подошел ближе. Володя выводил формулу синуса $n\lambda$, где n – целое число.

– На хрена тебе это сейчас надо? – спросил я.

– Интересно, – ответил Володя.

В общаге Володя был каким-то начальником в совете общежития. Прекрасно прыгая, он вечно окунал палец в воду и подскакивал до верхушки шкафа в нашей комнате. После этого демонстрировал первобытную пыль и грязь на поверхности этого самого шкафа. Дорогой Володя, ты бы знал, что о тебе говорили, когда ты уходил из комнаты... Такое арго надо собирать и записывать.

А председателем совета общаги был Боб Файзуллин. По нынешним террористическим временам Боб с его бородой под челюстью больше всего напоминал бы террориста Хаттаба или абрека с большой дороги. Ну и должность у него была отвратительная. Каково же было мое изумление, когда, зайдя к нему в комнату, я обнаружил Боба читающим Поля Валери. Я остолбенел и лишь спросил:

– Боб, откуда у тебя Валери? Его у меня нет.

Боб хмыкнул и достал из-под одеяла томик Элюара. Непростые ребята были на матмехе, совсем непростые.

Общага гудела. На неизвестном этаже жила кубинка. Про нее ходили легенды. «Куба – любовь моя, остров зари багровой...» Кубинка была, по слухам, необыкновенно сексуальна. Ну, просто нам в наших северных краях такая экваториальная страсть и все, что к ней прилагается, даже и не снились. Однажды я шел с кольца шестерки и встретил прогуливающегося с мрачным видом Костю Пилецкаса. Костя материализовался вместе с группой литовцев на нашем втором курсе и был, безусловно, самым ментально нам близким из них всех. Костя сейчас, по-моему, член-корреспондент или академик в Вильнюсе. А тогда он мрачно ходил кругами вокруг общаги и смотрел на часы.

– Что такое, Костя, кто тебя выгнал на улицу? – спросил я.

– Кубинка, сволочь, сосед склеил кубинку, просил пятнадцать минут, я уже третий час хожу. Сссука, – добавил он с чувством. И был, без сомнения, прав.

– Пошли, Костя, пошли, – сказал я. – Завидуешь?

– Нет, – соврал Костя.

– Пошли к нам, будем завидовать вместе.

Помимо литовцев, к нам на курс высадили целый десант казахских девушек. Найля, Назиля, Каламкас, Акмарал. В них немедленно влюбились учившиеся с нами гэдээровские немцы. Видимо, по принципу дополнительности характеров. Про немцев говорили, что они ровно в 6 утра вставали по стойке смирно лицом к радиоприемнику и слушали «Союз нерушимый республик свободных...» – короче, от гимна они торчали. А тут появились вольные казашки, дети, а вернее, дочери, степей. И немцы рухнули. Теперь Найля Лут – известный немецкий математик, профессор в каком-то университете. Интересная порода людей получилась.

Занимались в основной массе все истово, с хорошей долей фанатизма. Занимались, пока не падали, несмотря на все ухищрения, от недосыпа или усталости. Володя Халин даже привязывал себя к стулу, чтобы не упасть. Ну, Володя – он спортсмен и стоик, я однажды тоже попросил себя как-то зафиксировать, пока готовился к экзамену – в результате заснул мгновенно. Вообще занимались, как правило, до утра. В остальном была нормальная жизнь: любовь, танцы, концерты. Выпивали – весьма умеренно, вот курили многие без удержу, и курили всякую гадость. Из эксцессов помню чью-то пьяную драку со студентами-армянами на пятом этаже. Поводом был футбол, игра ереванского «Арарата» или что-то подобное. Пришлось разнимать, было это все крайне неприятно.

Однажды, выйдя рано утром в коридор второго этажа, я обнаружил висящую недалеко от нашей комнаты стенгазету. По-моему, это был 75-й год. Ну а в газете черным по белому... и про маляра лично Леонида Ильича, и про миролюбивую внутреннюю и внешнюю политику Советского Союза, и еще много такого же интересного. Я внимательно прочел текст, и мысль у меня была одна: Райков, это Саша Райков написал, кто же еще!.. Если это увидят, то поотрывают головы не только ему, но и всей общаге, а может, и всему матмеху. Сажали и за меньшее, скажем, за пропаганду идей Мао Цзэдуна, за изучение иврита, за что угодно. КГБ вербовало сексотов с неумной энергией, и на Райкова могли стукнуть в любую минуту. Я снял газету и пошел к Саше. Райков был совершенно замечательный, самобытный и талантливый астроном, на два курса младше меня. Я неплохо знал их курс. Оля Неродова, Галя Малькова, Марик Зильберман, Ира Тупикова ходили к нам в клуб «Искусство», захаживал туда и Саша.

– Слушай, – сказал я, – такое дело, я прочел газету, ты большой молодец, но я ее снял.

Видно было, что Райков не одобряет мой поступок.

– Думай что хочешь, я думаю о тебе и о нас всех. Будет хуже. Не надо сейчас дергать тигров за усы. Не время.

Саша сидел обиженный. Я еще раз обратился к нему:

– Ну, я тебя прошу, я понимаю – ты сказал, что думал и что хотел, но не надо.

Мне удалось убедить его в своей правоте. Вернувшись к себе в комнату, я достал переписанную мной от руки «Поэтическую тетрадку» к «Доктору Живаго» Пастернака. Я писал ее по ночам, зная, что все еще могут донести. Хоть времена уже не те, но кто знает... Я достал тетрадку и начал читать свое любимое:

*Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку...*

Божественные стихи завораживали. На мой взгляд, они как нельзя лучше подходили ко времени, к матмеху, к общаге...

Часть 3. Матмех

Как я уже говорил, годы учебы на матмехе, а это 1972-1978, были временем, которое до сих пор живет и сияет в душе факелом теплоты, одухотворенности, радости. Без всякого сомнения, каждый, кому посчастливилось провести молодые годы в стенах матмеха, должен быть безмерно благодарен судьбе за этот подарок.

Я приехал в Питер из Риги, города далекого от провинциальности, западного, по тем советским временам, города. Действительно, в Риге было, по сравнению с Питером, очень чисто, в магазине к тебе обращались «Ко лудзу – что, пожалуйста?», а не просто по-питерски «Следующий», курили только сигареты с фильтром, черным или белым, – я бесконечно возил однокурсникам черную или белую «Элиту» или «Ригу» с длинным фильтром, пиво делилось на темное, светлое, деревенское и еще хрен знает какое, к нему в пивбарах с деревянными стойками подавались соленые орешки, черные сухарики и еще что-то, чего в помине не было в колыбели революции. Рига была Западом, не хухры-мухры...

Но все же Ленинград меня оглушил. Культурное давление театров, выставок, литературных встреч было до невыносимости осязаемым. Хотелось всего и сразу. Хотелось все это ощутить, пропустить через себя, преломить в сознании историю каждого камня на мостовой, услышать магию имен, впитать голос другой музыки.

Я решил, что буду ходить год по театрам и выставкам, и когда-нибудь дойду до такого состояния, что буду посещать лишь вернисажи. Это была программа, это была очаровательная наивность молодости с ее энергией и сумасбродством.

Я сразу обзавелся массой друзей. Миша Зимнев, Наташа Мартынова (Зимнева), Ира Лобанова, Танечка Фоменко, Аня Березная, Леша Гейнц, Верочка Чернякова, Артем Мануэлян, Юля Хайкина (Мануэлян), Саша Меркурьев, Оля Долотова (Меркурьева) и другие остались самыми близкими друзьями на всю жизнь.

Матмех начался для меня с колхоза. Наши две группы, 12-ю и 15-ю, отправили в деревню Ям-Тесово, куда-то под Лугу. Остальных растолкали по другим деревням неподалеку. С нами поехали начальниками Фомин и Вершик. Анатолия Моисеевича Вершика мои однокурсники называли за глаза не Анатолием Моисеевичем, а «Доброе утро, подъем». Каждый день он в 7 или 8 утра входил в наш барак с этими словами. Потом он забирал желающих на неслабую зарядку с пробежкой. Позднее была написана песня с таким рефреном: «Доброе утро, подъем, проснуться я не могу...» Каково же было мое удивление, когда много лет спустя я узнал, что ее написал сам Вершик!

Колхоз запомнился картошкой, турнепсом и, главное, обретением друзей. Я сел в автобусе рядом с симпатичным светловолосым парнем, Мишей Зимневым. Его провожала мама. Познакомились. Подружились. Так мы и идем с ним бок о бок всю жизнь...

Кульминацией колхоза была Олимпиада в Мюнхене. И не из-за ужасающего убийства израильских спортсменов. Мы были тогда бесконечно далеки от этого, были обычными советскими

детьми, ну, может, не совсем обычными, но дела нам до политики не было. Главным событием для нас стал финальный баскетбольный матч Америка – СССР. Мы собрались в избе у какого-то местного жителя, набились, как сельди в бочке, в комнату с телевизором. И вот последние секунды, Едешко отдает пас через всю площадку, мяч летит, летит, летит в бесконечность... Вдруг возникают немисливо откуда руки Александра Белова – и все! Победа!!! Мы орали как сумасшедшие, радость была безграничной. Это теперь я думаю – ну что, собственно, кто-то победил, кто-то проиграл, какая, в сущности, разница, игра – она игра и есть. Но тогда было по-другому. Мы помчались в сельпо и закупили варенья в банках – черноплодка с яблоками – и хлеба. Ели, смеялись, балагурили. Это было божественно вкусно, и вообще – божественно...

Но вернемся на матмех. Теперь, имея за плечами 35 лет преподавания в разных университетах, я могу с уверенностью сказать, что учили нас просто превосходно. Великолепно учили, мне даже трудно с чем-то сравнить.

Конечно, апофеозом наших занятий на первых курсах, его настоящей кульминацией была топология Владимира Абрамовича Рохлина. Его побаивались и уважали. Рохлин был человеком язвительным, смотрел на студентов несколько свысока, всегда готов был дать понять, кто в лавке хозяин и – главное – почему! На экзамен по топологии мы определили тринадцать дней подготовки. Все остальное шло по боку. Рохлин пригнал пяток ассистентов и аспирантов, они-то нас и мурыжили. А потом, в конце, узнав, что поставили в группе четыре «пятерки», стали выяснять, почему так много и кто поставил лишнюю. Кучка была та еще. Помню среди них Виро, Харламова, Тураева... Меня, например, долбал Харламов, основательно, но без всякой отрицательной энергии. И было хорошо.

Вообще, весь курс геометрии был уникальным. Помимо топологии в него входили аналитическая, риманова и дифференциальная геометрии. И это все были обязательные курсы. Вел их очень здорово профессор Юрий Александрович Волков. По крайней мере, мне он нравился. Было в его манере преподавания что-то естественное и располагающее. С другой стороны, многие запомнили, как он писал бесконечные тензоры правой рукой и тут же со смущенной улыбкой стирал их левой.

Алгебру у нас вел Зенон Иванович Борович. Читал всегда абсолютно методично, очень конкретно, немного скучновато. Позднее я почувствовал, как за этой размеренностью и формализмом кроется продуманная схема – что и когда именно следует рассказывать, и почему так, а не иначе. Ну а потом, когда я стал заниматься в его семинаре, все изменилось кардинально. А вот практику в нашей группе вел совсем молодой еще тогда Анатолий Владимирович Яковлев. К концу семестра перед его приходом мы собрали все зачетки и аккуратно сложили к нему на стол. Заходит Яковлев, видит зачетки. Хмыкнул и говорит: «На что намекаете?» – «Да так, – говорим, – в голову пришло, да и сессия близко». – «Ладно», – сказал Яковлев и сел расписываться, ставить зачеты. Боровича на основном курсе алгебры заменял иногда Марк Иванович Башмаков. Про него и про Яковлева ходили легенды о том, как они в шестидесятых жили во Франции. Про Башмакова рассказывали больше. Ну, например, будто он после Франции теперь любую еду заканчивает сыром. Этот эпизод, очевидно, выглядел в студенческих глазах особым шиком. Марку Ивановичу я бесконечно благодарен за то, что во времена, когда не брали никуда, он взял меня в ЛЭТИ на преподавательскую практику на полгода.

От курса алгебры Зенона Ивановича у всех первокурсников осталась в голове намертво вбитая фраза: «Гомоморфный образ группы изоморфен фактор-группе отображаемой группы по ядру гомоморфизма». Это была такая мантра, наподобие буддистского «Ом мани падме хум». Никто не понимал ее сакральный смысл, но все знали, что говорится что-то важное и хорошее. В студенческом лексиконе эту теорему звали кратко «маразм групп по подгруппе». Но помнили на зубок. Она была чем-то вроде «Отче наш» курса алгебры. Позднее Саша Михалев (профессор Александр Александрович Михалев) рассказал, что у них в МГУ первокурсники молились еще

круче: «Гомоморфный образ группы, будь, во имя коммунизма, изоморфен фактор-группе по ядру гомоморфизма»...

У нас был роскошный курс диффузов Юрия Николаевича Бибикова. До сих пор помню некоторые теоремы, которые он рассказывал. Хотелось ходить к нему на лекции, слушать и наблюдать, как аскетичная старинная наука обыкновенных диффузов превращается во что-то современное и интересное.

Матанализ преподавал Борис Захарович Вулих. Был он немного вяловат, совсем не живчик, но рассказывал очень хорошо, мне нравилось. В нем был некий шарм старого матанализа, казалось, что он к нам явился прямо от Фихтенгольца, Натансона и кого там еще из питерских легенд можно упомянуть.

Математическую логику нам совершенно загубил, на мой взгляд, Святослав Сергеевич Лавров. Мало того, что он дал бесконечное количество логических импликаций, связанных с каким-то из Алголов, так он и все остальное уморил и засушил. Лишь много позднее я проникся мыслью, какая все-таки логика красивая и умная наука. Но читать ее надо как угодно, только не так, как это делал Лавров. Мне логика в его исполнении казалась чем-то утилитарным, лишенным математической привлекательности. Знаю, что о курсе Лаврова много хорошего написали Н.К. Косовский, А.Н. Терехов, мой однокурсник Володя Сафонов. Здесь нет никакого противоречия – я рассказываю о своих мыслях и чувствах. Кстати, вспоминаю, как мы бегали на альтернативный спецкурс по логике харизматичного профессора Шанина. Николай Александрович Шанин четыре лекции подряд определял понятие графического равенства. Я спекся и возненавидел логику. А зря. Вот в результате полжизни я с ней непосредственно связан.

Курсов было много, все они были на уровне. Матфизика Нины Николаевны Уральцевой, вероятность Ильдара Александровича Ибрагимова и даже методы вычислений И.П. Мысовских были содержательными курсами. Но на любителя – причем я был кем угодно, но не любителем этих дисциплин.

Профессор Иван Петрович Мысовских был маленького роста, со взрывным и достаточно дурным характером. Мы сдавали ему его занудные методы и надеялись на то, что Мысовских не будет особенно придирааться...

Во время экзамена у Мысовских вдруг открылась дверь, и в аудиторию вошел Иса Сайханов – дитя гор с нашего курса. Был он приличного роста, с орлиным носом, орлиным взглядом, густой шевелюрой. Иван Петрович – напротив – был далеко не орел. И вот подходит Сайханов к Мысовских и говорит, что хочет сдавать экзамен, но вот зачета у него нет. Мысовских стал опасно багроветь, а потом резко отправил Ису восвояси. Но Сайханов был не так прост. Не моргнув глазом, он положил руку Мысовских на плечо – как погладил – и сказал отчетливо: «Ты понимаешь, старик, стипендия горит». Я думал, Мысовских хватит удар. Он как бы распух, стоя на месте, а потом заорал: «Вон из аудитории!» Иса спокойно пожал плечами и вышел. А Мысовских еще долго отдувался, прежде чем вернуться к своему методу Крылова-Галеркина или еще чему-то такому же бравурному.

Мысовских вел курс методов вычислений попеременно с профессором Сергеем Михайловичем Лозинским. Все знали, что Лозинский-математик был сыном Лозинского-переводчика. Того самого, великого, что до Пастернака перевел на русский Гамлета. Воспитывался он в семье сибарита Алексея Толстого, а в итоге стал специалистом по методам вычислений и полковником. Он выстраивал студентов перед лекцией в шеренгу и проводил нечто вроде переклички. Вот такой Шекспир.

Кроме регулярных курсов, большое, с некоторого момента доминирующее влияние оказывали спецкурсы. Их стиль и содержание сильно отличались от общих дисциплин. Великолепные спецкурсы для алгебраистов читал Андрей Александрович Суслин. Андрей был блестящим

математиком, все чувствовали его энергию и самобытность. Даже при всей своей научной серости начинающих математиков мы ощущали, что, слушая его, соприкасаешься с математикой болезненно близко. Вообще говоря, выбор спецкурсов был большим. По нашей кафедре их читали А.Н. Андрианов, А.В. Малышев, С.В. Востоков, А.В. Яковлев и другие. Впрочем, некоторые из них проходили или были как-то связаны с ЛОМИ, сейчас это уже не очень важно.

Математика математикой, но была еще и другая матмеховская жизнь – социальная. Однажды, поднявшись на второй этаж матмеха, я обнаружил на доске объявлений деканата следующее объявление: «Меняю новые алгебры Ли на джинсы той же фирмы». Это означало, что приближался День матмеха. На следующий день появилась информация на деканатском стенде: «Завтра, такого-то числа, состоится лекция о нормальном распределении студентов. Лектор, доцент Зегжда, докажет теорему о невозможности нормального распределения». Когда мы поступали, в 72-м, День матмеха проходил под лозунгом «Строительство нового матмеха в Старом Петергофе». Когда мы через 5 лет заканчивали, этот лозунг был все еще актуален.

Будучи социально активным, я, кажется, в 74-м, стал культоргом факультета. И на этом поприще столкнулся перед Днем матмеха с доцентом Хиловым. Ну и мерзкая была фигура на нашем факультетском небосводе! По-моему, он при парторге Буравцеве был его замом в партбюро факультета. Хилов потребовал на визирование сценарий Дня матмеха. Я принес ему какие-то кроки, по которым он водил пальцем. Дойдя до песни Булата Окуджавы «Молитва» или, как ее часто называли, «Молитва Франсуа Вийона» – «Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет...», он взглянул на меня и спросил:

– Что это такое?

– Окуджава, – сказал я, – Булат Шалвович.

Хилов перегнулся через стол и изрек:

– Вычеркнуть.

– Почему? – я не очень его испугался. – В Доме Книги на Невском продается пластинка фирмы «Мелодия» с этой песней.

Хилов усмехнулся.

– Нам Дом Книги не указ. Вычеркнуть! – заключил он.

Я взбеленился, кивнул, но про себя подумал, что схожу к доценту Вадиму Алексеевичу Волкову. Про Волкова ходили слухи, что у него есть самое настоящее звание, то ли майора, то ли капитана КГБ. Не знаю, свечку я не держал, отношения у меня с ним были нормальные. «Пойду, скажу Волкову, – решил я, – пусть они там между собой разбираются, по субординации». Но, к счастью или к сожалению, Волкова в эти дни я не встретил. И просто решил послать Хилова на три буквы, Окуджава дороже. Все обошлось, песня звучала.

Это был тот самый День матмеха, когда бородатый Смит – Саша Кузнецов – танцевал «Умиращего лебедя», Марик Зильберман и Саша Березный соорудили цветомузыкальную машину, а у кого-то из членов жюри спросили, сколько должно быть детей в семье математика. «Простое число», – ответил он. Еще пели «Эх, загу-загу-загулял, загулял, парнишка-парень молодой» – по поводу сессии, в общем, зал рыдал.

Комсоргом факультета был Володя Энгельгардт. Вот кто был человеком трезвым и деловым! Из своей общественной работы он явно сделал совершенно конкретное предприятие, без истовости и фанатизма. Однажды он нас собрал и сказал, что надо исключить из комсомола студента Зайденберга по случаю его отъезда в Израиль.

– Только прошу вас, – сказал Энгельгардт, – не задавайте ему вопросов, не уговаривайте остаться, не предлагайте вести там комсомольскую работу, просто исключите побыстрее и разойдемся, у человека полно дел.

Часть 4. Клуб «Искусство»

Вспоминая клуб «Искусство», я прикасаюсь к болезненно прекрасному периоду моей матмеховской жизни. Возникает желание попробовать снова если не войти в ту же чудесную реку, то хотя бы почувствовать свежесть ее вод, поговорить со старыми друзьями, ощутить свободу и радость общения.

Клуб «Искусство» существовал на матмехе два-три года, где-то между 73-м и 76-м годами. Я лелею мысль, что когда-нибудь мы организуем хотя бы виртуальный реюнион и напишем историю клуба с выверенными временами, датами, именами. Пока что, не претендуя на полную точность, я пишу о том, что живет в моей памяти.

По-видимому, стараниями Леша Гейнца (ныне профессор Алексей Гейнец, Гетеборг), былинная история клуба восходит еще к первому курсу, т.е. к 72-73 годам. Для меня же и, как я думаю, для большинства остальных все началось на втором курсе, с моей встречи с Лешей в комнате под лестницей. Я увидел объявление о клубе, подготовленное Лешей, и остановился как вкопанный. Вот так теперь осматриваешь зачастую музеи: скользишь взглядом, думаешь о чем-то своем – и вдруг... Зацепило! Вот это таинственное «вдруг» и случилось. Мы с Лешкой разговорились и не разошлись, а наоборот, сели в какой-то аудитории и прикинули, как будем «нести искусство в массы». Молодые, нахальные и пассионарные, мы с ним расписали всю мировую живопись по темам и художникам. Вот так, скромно... И разделили между собой, кто какие лекции и о чем будет читать. Мне достался золотой век русской живописи, Лешка для начала взял Возрождение и Ван Гога. Долго спорили о названии клуба, был вариант назвать его «Под лестницей», но остановились на тривиальном названии. Так родился клуб «Искусство» – бесконечные литературные вечера, художественные лекции, диспуты, концерты. Все бурлило и клокотало со страшной силой. Почувствовать бы снова ветер тех дней...

Леша Гейнец оказался потомственным интеллигентом. В начале XVIII века кто-то из его далеких предков приехал из Германии в Санкт – действительно – Петербург. С тех пор в генеалогическом древе Гейнцев каких только ветвей ни прибавилось – шведы, норвежцы, эстонцы, датчане, сербы и еще пол-Европы. Естественно, в двадцатых-тридцатых поубивали половину семьи, но Лешкина бабушка выжила – и это особый рассказ.

Каждый раз, проходя мимо Строгановского дворца, что на углу Мойки и Невского, я испытываю отчетливое давление воспоминаний. Казалось бы, столько лет прошло... Дворец, как хамелеон, менял цвет и содержание, появилась в нем подворотня с Шоколадным музеем, появились какие-то безыдейные кафе во дворе, возникли подъезды с кодовыми замками, вселились те, кто за этими замками живут. Мне это все кажется декорацией, а реальность – там, на пятом этаже бокового здания, где коридор, как туннель, в конце которого – ну, что может быть в конце туннеля! – Лешкина квартира, книги, альбомы, портреты – и Лешкина бабушка. Свет должен быть в конце туннеля, свет там и был!

Теперь, когда я думаю о преемственности поколений, мне представляется, что наш клуб весь вышел из этого света, как из гоголевской «Шинели».

Вначале на заседания клуба ходили в основном мои однокурсники: Ира Лобанова, Наташа Мартынова (Зимнева), Миша Зимнев, Аня Березная, Лена Борович, Миша Лапочкин, Артем Мануэлян, Юля Хайкина (Мануэлян), мой одноклассник Андрей Луценко и периодически многие другие. Потом примкнули учившиеся на курс младше Римма Ливьянт и Марина Казакевич. Ну а

настоящая феерия началась с появлением ребят 74-го года поступления. После них пришла только музыкальная Катя Благовещенская.

Это была блестящая плеяда молодых интеллектуалов. Замечательный курс! Талантливый, умный, нормальный. Когда ребята пришли, сразу же стало заметно больше позитивной энергии. Я, конечно, присматривался, так как чувствовал обычную ответственность старшего. Сейчас мы все асимптотически одинаковые, а тогда два года – еще какая была разница! Я не поленился, я перечислю многих из них: Сережа Соловьев, Витя Козырев, Сережа Фомин, Игорь Агамирзян, Галя Малькова, Оля Неродова, Игорь Валерштейн (Зверев), Сережа Генкин, Марик Зильберман, Ира Тупикова, Саша Березный, Саша Райков, Андрей Семенов... – кого я еще забыл?

Я помню, как слушал Гуля. Я спросил: «Кто это?» Мне сказали: «Гуля». Я спросил: «А имя у него есть?» – «Есть, Игорь, и фамилия есть – Валерштейн, но все зовут его Гуля». Так вот, Игорь часто улыбался, хорошо так, умно и даже мудро. У него, по-моему, был свитер, он часто ходил в свитере. Мне казалось, что он прячет улыбку в нем. Улыбался и молчал, не фонтанировал, просто все понимал.

Зато фонтанировал Игорь Агамирзян. У него сияли глаза, и весь облик, порывистый и вдохновенный, был устремлен на собеседника. Игорь блистал, красиво и умно говорил, было видно, что ему все, включая его самого, очень нравится – а мне нравилось то, что он говорил. В общем, не зря у Игоря сейчас академических регалий на полстраницы.

Помню, как зашел Сережа Фомин. Зашел и сел тихо, слева от двери, у стенки. В основном молчал, не шутил, слушал. А потом что-то сказал, сейчас уже, конечно, стерлось, что именно, но я сразу повел головой, почувствовал – надо обратить внимание. Мы с профессором Фоминым (Анн-Арбор) встречались как-то раз в Тель-Авиве, сидели в каком-то ресторанчике, ели мидии и вспоминали юношеские годы. Было очень тепло.

Марик Зильберман меня сразу покорила. Как он играл, как чувствовал музыку. Собственно, благодаря ему и возник интерес к Скрябину, к «Прометею», к цветомузыке, к тому, что музыка, в сущности, – это еще один способ коммуникации и познания мира. Что нет большой разницы между изобразительными средствами, не суть, что именно используется – слова, или ноты, или изобразительный ряд на полотне. Марик владел способностью играть и говорить очень естественно, ничего придуманного – все делал как дышал.

Сережу Генкина и Витю Козырева я особенно запомнил по лекции о творчестве Вила-Лобоса. Они оба много и толково говорили, здорово говорили... Но не в этом дело! Совсем не в этом. Дело было в том, что витала аура общего эстетического экстаза – и, как мне кажется, там было несколько катализаторов. Ребята были на месте, в своей стихии, в своем амплуа, рассуждали тонко и элегантно. Это был класс!!! Как говорят в Израиле – «десятка», «в яблочко» по-русски. Фотографии Саши Березного очень точно запечатлели этот момент.

Андрюша Семенов, по-моему, родился, зная все обо всем, не говоря уже о частном – музыке, литературе, искусстве. Он подарил мне свое собрание симфонической музыки – нормальный человек его прослушать не может, а Андрей, похоже, все это переварил в себе еще в молодости. Не так давно мы с ним ходили на выставку Малявина в корпус Бенуа. Это был кайф. Малявин, его ядреные красные бабы – и мы смотрим на все это вместе с Андреем, как когда-то...

Сашка Березный стал настоящим историографом клуба. Его фотоаппарат, а вернее, точный взгляд в этот фотоаппарат, запечатлел то, что ушло бы навсегда. И вот мы можем смотреть в прошлое и, глядя на эти фотографии, видеть клуб, чай, написанную на доске тему встречи и лица: Лена Борович глубоко погрузилась в себя; Леша Гейнц скрестил пальцы – по-моему, все 12 штук, запрокинул голову, на шее неизменный шарф; Игорь Агамирзян подался вперед, шевелюра зависла в кадре; Сережа Соловьев смотрит мрачно, сосредоточенно, скулы напряжены;

Витя Козырев и Сережа Генкин спокойно и немного расслабленно улыбаются; Римма Ливьянт слушает внимательно, опустив глаза; Марик Зильберман распластался на парте, лег на нее головой и куда-то улетел. Родные физиономии однокурсниц: Ирка Лобанова, Наташка Мартынова – они засекли, что их снимают, поэтому хоть и слушают так, что уши шевелятся, но глаза смотрят в камеру. Маринка Казакевич, курчавая, порывистая, всегда очень сконцентрированная; Артем Мануэлян – он в кадре стопроцентный армянин, никто и предположить не может, что ему на армянском даже этикетки вина не прочесть; Юлька Хайкина с неподражаемой улыбкой и пальчиком около рта... Оленька Неродова, Галя Малькова, Ира Морковкина... Все это фотографии Саши Березного, все его работа.

Забегал-заходил на клубные посиделки Саша Райков. Саша всегда говорил и думал ярко. Мы с ним продолжали разговоры в общаге, где оба обитали. Убедить Райкова в чем-то было невозможно, почти невозможно, он сам все знал, и знал отлично. У него был такой острый ум, что можно было порезаться. Саша был астрономом. Вообще, астрономы были представлены в ассортименте: Оля Неродова, Галя Малькова, Ира Тупикова, Саша, Марик, еще кто-то.

Я совсем не удивился, когда узнал, что Сережа Соловьев стал логиком. Мы с ним много общаемся, переписываемся, совсем недавно виделись в Тулузе, где он является профессором этой самой логики. Сережа всегда смотрел одним глазом в себя, а двумя другими (включая третий глаз между бровей) – наружу. То уйдет в себя, то – вдруг – начнет очень здорово и необычно говорить. Он не просто приходил послушать, он – работал, изучал, преломлял через себя, а потом рассказывал. Я бы сказал, что он вкалывал больше всех, перерабатывая услышанное и увиденное. До сих пор благодарен ему за рассказы о «Молоте ведьм», о Северном Возрождении, о систематике образов у Босха. У Соловьева были уже тогда литературные опыты. Из всех нас именно он стал писателем. Из-под его пера вышли книги о Толкине, Муссолини, Джобсе, сборники рассказов, прекрасные стихи, воспоминания и многое другое, что еще ждет публикации.

Я перечисляю и думаю – какие мы все были разные, и какие, в сущности, похожие! А чай любили все. У Клуба было свое ведро, в нем этот чай заваривали, пили его из граненых стаканов с сахаром вприкуску, долбали вековые сушки и говорили обо всем, а иногда просто трепались. Однажды, помнится, купили пышки в «Пышечной» на Среднем, сразу за углом – это был просто апофеоз. Чай был нашим с Лешей изобретением и работал безотказно.

Мы с Гейнцем играли – осознанно или неосознанно – в игру «плохой-хороший», «умный-глупый», заводили аудиторию, причем все получалось совершенно естественно. Лешка – музыкальный, одухотворенный, весь во власти европейских генов восьми поколений своих предков, олицетворял потомственную интеллигенцию. Если он брал в руки музыкальный инструмент, то непременно возникала «Чакона» Баха. Никаких вам глупостей, никаких моветонов и «мурок». Я, как выходец из еврейского пролетариата, играл роль интеллектуального провокатора, Азефа от искусства. В результате за чаем было не скучно, весело было, живо, и расслабленность мыслей скрадывала их глубину. На самом деле, как я сейчас думаю, мы неосознанно создали – не изобрели – некую оптимальную модель студенческого веселого культурологического цеха.

Лекций, прочитанных в клубе, было много. Еще больше было обсуждаемых тем, диспутов, разных совместных проектов и начинаний. Попробую привести примерный список клубной активности.

Вечера-лекции: Микеланджело, Ван Гог – Леша Гейнц; Вагинов – Ира Морковкина; Рерих, Врубель – Женя Плоткин; Моцарт – Витя Зайцев; Вила-Лобос – Юля Хайкина; сюрреализм – Володя Смирнов; цветомузыка – Скрябин «Прометей» – Марик Зильберман; импрессионизм в музыке – Муратов; Босх–Брейгель – Соловьев, Смирнов; Чюрленис – скорее всего, два вечера, готовили несколько человек. Еще были вечера: Миро, Гарсиа Лорка, Рильке, Бетховен. «Мир искусства» обсуждался не раз. Марина Казакевич сидела по библиотекам, готовила Бакста,

Оля Неродова – Сомова. Много сил ушло на постановку вечера Экзюпери, где Оля Тузова играла Маленького Принца. Были еще разные темы, занимавшие целые вечера. Музиль, например, или Воннегут, или Карл Орф. Но особенно врезались в память сюрреализм и Чюрленис. Вот где был настоящий аншлаг!

Вечеров Босха было два, второй – вместе с Брейгелем. Босх в то время был для всех настоящей «terra incognita». В советских музеях его не было, книга продавалась одна, Фомин: на черном рынке, на Литейном под аркой, она стояла двадцать рублей – полстипендии.

Когда был разговор о Босхе, многократно обсуждалась символика Страшного Суда – перевернутые воронки, рыбы, клещи и т.д. Тогда и возникла идея вечера сюрреализма с акцентом на Дали. Я немного побаивался, как бы начальство не заинтересовалось и не распустило клуб к чертям собачьим. Все решила встреча с Володей Смирновым. Он старше нас на 10 лет, закончил физфак и был другом моей двоюродной сестры. Оказалось, что у Володи фантастическая коллекция сюрреалистов, около трех тысяч цветных слайдов с комментариями. Он согласился прийти и рассказать. Это было потрясающе. Володя скопировал знаменитый альбом Дали с золотым обрезом – тот самый, что лежал на Литейном в витрине букиниста рублей за 300, мне кажется. То есть абсолютно недоступный. Он также скопировал альбомы Танги и Эрнста, оба – «Rizzoli». В итоге было очень много народу, ну, может, на Чюрленисе столько же было.

Позднее я неоднократно встречался с Володей в Тель-Авиве. Сидели у нас дома, выпивали, вспоминали то время. Оказывается, когда в перестроечные времена физику совсем прижало, ему пришлось продать свою коллекцию слайдов. Жалко. Она и сейчас – уникальна.

Потом был второй вечер Босх–Брейгель. Здесь уже рассказывал Сережа Соловьев, который со свойственной ему основательностью успел побывать и в библиотеке, и у Володи Смирнова дома, и прочел «Молот ведьм» – в общем, Сережа был подкован не на шутку и сделал, возможно с кем-то вместе, великолепный вечер.

Ну а потом, по логике вещей, настал черед вечера Чюрлениса, это был 1976 год. Реальными его катализаторами стали вечер сюрреализма и как раз появившаяся книга воспоминаний... желтый супер, автор, кажется, сестра Чюрлениса Ядвига. Одним из важных открытий, связанных с этой желтой книгой, было осознание странного для меня факта существования Чюрлениса-композитора. По сравнению с живописью музыка казалась мне малозначимым искусством – заблуждения юности придают особый шарм прозрениям на пути к зрелости. Но в клубе музыка всегда была на особом положении, и тут вдруг выяснилось, что в Чюрленисе эти две стихии сошлись самым счастливым образом.

Вечер Чюрлениса проходил на третьем этаже, в длинной большой аудитории, по-моему 36-й или 34-й. Вот не помню, были ли свечи??? Мне так кажется, что свечи были. Возвращенный в Прибалтике, я не представлял без них ни одного мало-мальски значимого события. Так выглядел выпускной в школе, при свечах проходили дискотеки и вечера в кафе. А у Чюрлениса камерный свет свечи играет роль не атрибута, а фабулы. Словом, я хотел свечей, но вот не помню, были ли они?..

Вечер удался, было много народу, кто-то рисовал афиши, звучала музыка, были хорошие слайды. Детали ушли, а чувство осталось. Навсегда.

И, наконец, немного о вечере Вагинова. Рассказывала замечательная девушка с психфака, Ира Морковкина. Я не помню точно, как она с психфака материализовалась у нас, помню, что она вдруг сказала, что может рассказать о Вагинове. Как – Вагинов? Кто это? Никто тогда толком не знал. Обэриуты – Хармс, Введенский и другие – у всех были на слуху, но вот Вагинов... «Козлиная песнь» – никто не знал. И вот был рассказ, а потом мы пошли на квартиру Вагинова. Это было невероятно: сырой ленинградский вечер, мы проходили какие-то дворы-колодцы, толком не зная, куда идем...

В конце концов, Ира все же нас привела к ней. Мы постояли, стараясь перенестись в прошлое. Мне кажется, это удалось – во всяком случае, внутри что-то осталось и засело.

Что для меня Клуб? Следуя Марине Казакевич, Клуб для меня – это дружба на всю жизнь, это теплота имен, это магия воспоминаний, это чувство горчащей ностальгии по безудержной молодости, по свежести познания, наконец, просто по кусковому сахару, чаю из граненых стаканов и пышкам. Клуб для меня – это стихи, написанные в 1990-м на отъезд Марины в Израиль, где сейчас живу я, а она – далеко, в картофельном штате Айдахо. Вот отрывок:

*Марин, в земле обетованной,
Где кареглазен детский взгляд,
Где нет ни снега, ни туманов,
Марин, вспомняем Ленинград.*

*Его музеи, театры, были,
Его в «колодцах» небеса,
Где мы смеялись и любили,
Где наши живы голоса.*

*Увидим клуб, услышим речи,
И смех, и чай, и громкий спор.
Чюрленис вдруг потушит свечи,
И Орф продолжит разговор.*

*Покорные незримой власти
Воспоминаний над людьми,
Вновь зазвучат Матфея страсти
И Рерих спустит корабли.*

*И миг тот будет тих и светел,
Как лик мадонны с полотна.
Лишь ленинградский стылый ветер
Скулит и шепчет у окна...*

*Слегка отдвинув занавески,
Увидим, словно наяву,
Адмиралтейство, Зимний, Невский
В их вековечном рандеву.*

*А чуть налево – Мариинка.
А дальше, дальше, за углом –
Ну, вспоминай скорей, Маринка –
С берлогой Вагинова дом...*

*...Неясный свет семидесятых
Я как реликвию храню.
Марина, дай нам Бог когда-то
К его приникнуть алтарю.*

*Быть может, снова будут встречи
И не рассеется мираж,
Где наш университетский вечер
Впаян во времени фиксаж.*

Часть 5. Военные лагеря

Летом 76-го года нас отправили в военные лагеря на Кольский полуостров. До этого мы пару лет дурью маялись на военной кафедре, со всеми ее приколами. Кафедра располагалась в стенах истфака, я почему-то шел к ней всегда мимо вивария психфака, там отчаянно лаяли собаки. Как раз аккомпанемент был под стать нашим военным упражнениям. Надо было быстро перед дверьми накинуть на шею галстук с петлей-удавкой и слушать всякую белиберду: «Пуля вылетает из ружья и летит по невидимой траектории, называемой параболой»... – к горизонту или к едреной матери. Нас готовили по специальности «операторы ракет тактического наведения» или что-то в этом роде. Как я понимаю, это были те самые тактические комплексы СС-14, которыми во время Персидской войны Саддам Хуссейн обстреливал Израиль. Только их усовершенствовали и назвали «Скадами», и летели они не 300, а целых 600 км.

Все отбывали номер, студенты и преподаватели. В голове ничего от этих штудий не осталось, и когда меня в Израиле спросили в 93-м, как именно выглядели те машины, на которых я должен был работать и рассчитывать установки стрельбы готовых к запуску ракет, я честно сказал единственное, что помнил: «Они были большими и зелеными». Как крокодилы.

Так или иначе, на военную кафедру пришел новый начальник, который то ли сам служил на Кольском, то ли у него были там какие-то связи и интересы. В итоге нас, студентов-математиков, отправили в реальную боевую военную часть. Это был не просто абсурд, это было безумие высшей пробы, игра на выживание с неясным результатом. Мы выехали в поселок Нивский – это километров 100 за Кандалакшей, немного не доезжая до Мончегорска. Дело было в июне, я впервые в жизни ехал в Заполярье поездом Ленинград-Мурманск, вагоны отстукивали что-то ритмичное, за окном мелькали бесконечные блюдца озер с желтыми от кувшинок-купавниц берегами. Проехали место с бодрящим названием Зашеек – и вот уже и наша часть.

Дальше началось с места в карьер. Нам сказали, что наша рота доукомплектовала какую-то воинскую часть, у которой на боевом дежурстве находятся тактические ракеты; что точная дальность этих ракет – секрет, и что некоего сержанта разжаловали в рядовые и посадили на гауптвахту, когда он написал своей девушке, что, мол, «будешь гулять с Колькой – я тебя отсюда ракетой достану». Военная тайна, или секрет Полишинеля, состоял в этих 300 км дальности стрельбы наших ракет. На хрена посередине Кольского такие ракеты, в кого там пулять за 300 км, в тюленей на Белом море? – до сих пор остается загадкой. Но если ракеты там лежат, значит, как сказал поэт, это кому-нибудь нужно.

В первый же подход к специализированным вычислительным машинам тактического комплекса СС-14 мы ввели экватор в качестве цели стрельбы. То есть это примерно 6000 км. Вместо того, чтобы похрюкать и сказать, что сия миссия невозможна, машина похрюкала и выдала угол и другие установки стрельбы. Куда такая ракета упадет? – задались мы интересным вопросом. Видимо, начальству тоже стало интересно, и нас больше к ракетам не подпускали.

Зато стали примерять противогазы в специальной палатке. Бойцы заработали на этом конъюнктивит, что, видимо, входило в программу и никого не впечатлило. Началась наша служба.

Военная часть была устроена таким образом. Мы жили в казармах в самом центре части. Там же находились какие-то ракеты. Где-то в тундре были разбросаны объекты, которые требовалось охранять. Как я понимаю, вся тундра была полностью загажена военными. Одним из объектов был законсервированный танковый военный завод, другим – подземное хранилище азота, над которым все время курился мерзкий коричневый дымок. Это хранилище надо было охранять в противогазе и чуть ли не в костюме химзащиты, что особенно приятно. В общем, живого места для природы там не было. Правда, какой-то лейтенант хвастался, как они на «газиках» с «калашами» гоняли по тундре и «охотились» на оленей. Думаю, он просто рисовался. Все объекты были соединены с базой специальными сигнальными линиями на случай, если

враг вдруг задумает напасть и украсть танк или бидон азота – тогда на базе должна была загореться сигнальная кнопка или завывать сирена.

Нас разбили на взводы, командиром над ними всеми поставили, как обычно, Володю Халина. Параллельно с нами привезли еще кучу «приматов», то есть студентов ПМПУ. Это была вторая часть казармы. Покатили будни, началась служба. Ее программа была такой: мы служим, охраняем все подряд, что есть в тундре, потом будут стрельбы, потом забег на сколько-то километров, потом присяга – «Служу Советскому Союзу» – и домой.

В общем, выжили все, но не сразу, не вдруг. Хорошо помню свое первое дежурство около танкового завода. Он был в тундре, думаю, километрах в пяти от части. Туда вела жутковатая дорога, по которой ходил ГАЗ-66, грузовик немыслимой проходимости. Завод представлял собой прямоугольник с длинными сторонами, метров по 500, не меньше. Мне выдали автомат с рожком, сказали ходить по периметру, и ГАЗ-66 свалил обратно в часть.

Я впервые остался в тундре один, дело было под вечер, но стоял полярный день. Впервые я ощутил сильнейшее, чувственное притяжение Севера. Солнце начало спускаться, но, дойдя до некоей точки над горизонтом, зависло, как воздушный шарик, и стало менять свою сущность. Оно уже не было светилом, это был волшебный фонарь, источник призрачного косого голубовато-серого света, который легкой дымкой впитывал в себя весь окружающий пейзаж, слегка волнуя и деформируя его. Это было волшебно, немножко страшно и безумно интересно. Я ходил по периметру и часами пел песни Окуджавы. К счастью, медведей рядом не было, а то бы они издохли от этих рулад. Но мне было хорошо. Громады танков, одетых в брезент, какие-то ящики и конструкции несколько пугали, воображение рисовало картины из «Сталкера» или другие видения Стругацких, но все страхи уходили под песни Булата Шалвовича. Под ногами были выветренные, трещиноватые граниты со звездочками граната-альмандина и прожилками кварца. Это было удивительно. Было довольно холодно, и комарье не докучало. Так благостно прошло мое боевое дежурство.

Но дня через четыре все случилось совершенно иначе. Опять послали на этот завод какого-то алгебраиста из соседнего взвода, по-моему это был Саша Паньгин. Он заступил на дежурство, когда по-северному быстро стала портиться погода. Налетел ветер, начался чуть ли не снежный или ливневый заряд, резко упала видимость. От всего от этого где-то заклинило сигнальную линию, и в части раздался сигнал «Нападение на пост». Идиот лейтенант решил, что и в самом деле это Паньгин нажал тревожную кнопку, и скомандовал: «Боевая тревога». Алгебраистов посадили в ГАЗ-66, выдали «калаши» с боевыми патронами, и все это понеслось в тундру, к заводу. Видимость была никакая, туман и дождь. Они приехали к объекту, и лейтенант, видимо от большого ума, скомандовал разделиться на две группы, взять автоматы и отправиться по периметру в двух разных направлениях. А в это время ничего не подозревавший Паньгин бродил где-то посередине охватывающего его кольца, охраняя всю эту грудку металлолома. Вдруг он видит, как сзади и спереди от него возникают в тумане какие-то неясные фигуры с автоматами. От неожиданности и, думаю, от страха, он схватил свой «калашников», наставил его на далекую фигуру и сказал заветное: «Стой, стрелять буду». Фигура остановилась и, к ужасу, тоже сняла автомат. Так они в оцепенении стояли с наставленными пушками в тумане друг напротив друга. Первым пришел в себя Паньгин, закричав: «Не стреляй, я свой, я Саша!»... Все обошлось, не поубивали в этот раз.

Вечерами Валера Зубин запевал в казарме что-то бравурное. Мы готовились к концерту самодеятельности, включенному в местную программу комсомольской работы с курсантами. Валера написал оперу, вариации на тему «Иисус Христос – суперзвезда». Практически все слова в ней были матерные, но, как известно, каждому жизненному обстоятельству соответствует свой язык. Концерт удался, мне понравились две песни, которые спел симпатичный стриженный паренек из «приматов». Сказали: «Выступает Борис Гребенщиков, ПМПУ». Он вышел и сказал, что исполнит две песни «Машины времени». И спел «Долго я шел берегом реки, я шел, судьбу

свою клян...» и «Под небом голубым есть город золотой». Почему он сказал, что обе песни «Машины времени» – не знаю. Так состоялось знакомство с Бобом. Уже позднее я встречал его на каком-то домашнем концерте – половина моих сокурсников училась с ним в 239-й школе. Кто в одном классе, кто в параллельном. Был он приятным, интеллигентным парнем. В памяти отложилось, что он дал кому-то из моих знакомых коричневый том Булгакова 1973 года, который я никак не мог сам достать.

Перед сном по казарме неслось привычное: «Еще один гребанный день накрылся, уррааа, уррааа, урраа». С утра побудка начиналась обычным замечанием взводного, Миши Зимнева. Он спал между мной и Сашей Вольбергом. Мишка просыпался и говорил: «Вот, курсант Плоткин, посмотри – направо спит курсант Вольберг (сейчас профессор Александр Вольберг, Ист Лансинг), тоже еврей, а кровать стелить умеет». Мы с Сашей дружно предлагали старшему по званию: «Антисемит, лучше покорми с утра мышку под кроватью». В самом деле, у нас там жила какая-то полярная мышь – и неплохо жила.

Кормили нас, прямо скажем, фигово. Макароны да макароны – как в старом анекдоте: «...два мешка брюквы советскому солдату ни в жисть не съесть» – и поили каким-то пойлом под названием чай. Злые языки говорили, что он с бромом, но и без брома это была невероятная гадость. Стали понемногу побаливать десны, ныть челюсти. Цинга не цинга, но авитаминоз был налицо. Всего этого избежали наши литовские курсанты. Запасливые и смышленные, они притаранили из дому запас чеснока – и последствия казарменного меню их не коснулись.

Несмотря на кураж, все-таки иногда становилось кисло. Особенно тем, кому все военное было противопоказано еще при рождении. Одним из таких был мой товарищ Леша Черняков (впоследствии профессор философии Алексей Черняков). До лагерей Леша никогда не пил, учился сверх меры, благо и одарен был тоже выше всякой меры. А тут как-то раз достали водку, и мы с Мишей Зимневым обучали Лешу пить ее из фотографических кювет, еще пахнувших проявителем. Леша долго морщился, но выпил – и тут ему, наконец, полегчало.

Тем не менее, мы веселились, играли в баскетбол, в шахматы. Сохранились фотографии, где мы все сидим с «калашниковыми» около барака. Халин с Зубиным играют в шахматы, рядом Сережа Андросов, а мы с Меркурьевым и Зимневым уткнулись носами в книжки. Самое место для избы-читальни! На фото ясно видно: Саша читает «К-теорию» Хаймена Басса, а я – «Мнообразие групп» Ханна Нойманн. В конце 90-х я вез Басса по горам Иудеи из Иерусалима в Тель-Авив и рассказал ему эту историю. По-моему, Хаймен был очень польщен.

Потом были стрельбы из автомата Калашникова – лежа, и из пистолета Макарова – стоя. Вот тут-то будущий профессор, приглашенный докладчик на всемирных математических конгрессах Александр Меркурьев чуть не пристрелил нашего лейтенанта. Бедняга вел стрельбы, не подозревая, что имеет дело с алгебраистами. Саша стрелял из пистолета Макарова. Выстрелил – осечка, нажал на курок снова – опять осечка... Тогда он поворачивается с пистолетом к ведущему стрельбы старлею и, не снимая пальца с курка и не переставая на него нажимать, сообщает: «А у меня никак, никак»... Говорят, хамелеон быстро меняет цвет. Глупости, я многих повидал в жизни хамелеонов – в Израиле, на Шри-Ланке – глупости, вот тот лейтенант действительно быстро приобрел землистый цвет лица, думаю, до самого пупа – под формой не видно – и заорал благим матом: «Бросай оружие!» Помогло, стрельба закончилась безрезультатно. Повезло!

С какого-то момента мы стали готовиться к марш-броску. Этого дела я побаивался, так как бегать не любил, не умел и вообще не хотел. А Володя Халин бегал, как молодой лось. И я представлял, как Вовка будет меня подгонять по дружбе и по обязанности – чтобы я добежал до какой-то дурацкой точки, не откинув коньки. Но произошел случай.

Как я уже говорил, погода на Кольском менялась мгновенно. Налетали холодные ветра, казалось, что в июне в любой момент может пойти снег. Мы не снимали пилоток – холодно. Короче,

однажды ночью нас подняли по боевой тревоге. Через несколько минут я с изумлением понял, что никакие это не учения. Нас поставили в оцепление в поселок, который находился в нескольких километрах от части. Горел детский сад. Он представлял собой вагончики, в которых были дети. Причем, как нам сказали, родители этих детей в основном были зеки с 100-го километра. Как раз здесь проходил 100-й километр от Кандалакши, и многие зеки освободились на поселение где-то неподалеку, завели семьи, родили детей... В общем, это был кошмар. К счастью, мы были в дальнем оцеплении, а потом нас и вовсе убрали. Но чувство ужаса у меня сохранилось. Ужаса и подлинности происходящего.

После этого марш-бросок как-то не произвел впечатления. Ну, состоялся он, ну пробежали-добежали, поставили галочки. По крайней мере, мне все так запомнилось.

Были и еще всякие случаи: что-то взорвалось, что-то сломалось, неподалеку случился самострел. Конечно, посреди всех этих реалий были и минуты отдыха. Играли в баскетбол взводами, на казарменной спортплощадке. Помню до сих пор: Саша Меркурьев бросает по кольцу, мяч отскакивает от дужки налево, прямо в частокол рук. Володя Халин прыгает, как всегда, выше всех, забирает мяч и, по-кошачьи приземлившись, скидывает его мне назад, за трехметровую линию. Я краем глаза вижу, что Меркурьев уже ушел от кого-то из литовцев и открылся справа от кольца. Он кричит: «Мне!», я киваю головой, но вместо этого почему-то отрываюсь от земли и, закинув на голову напряженную кисть правой руки, кидаю из-за трехметровой по кольцу. Не глядя, уже знаю – попал, и не смотрю на корзину, а просто слышу характерный шорох мяча, входящего в сетку – попал! Халин поднимает большой палец вверх, а Меркурьев смотрит изумленно – метла выстрелила. Я пишу об этом так подробно, поскольку картинка эта сохранила свои краски, свежесть и точность и сейчас, много лет спустя. Видимо, у каждого человека есть тайное хранилище особых воспоминаний, пугающе неподвластных времени. Никто не знает, почему одни мгновения туда попадают, а другие – нет.

В какой-то момент начались дрессировки хождения на плацу перед присягой. Сначала полировали пряжки под нехитрый солдатский юмор: сколько времени полируют пряжку – да пока матом не покроется. Пришивали слегка белые подворотнички, без конца чистили сапоги. Потом была музыкальная часть присяги. У каждого взвода была своя взводная песня. Мы шли, горланя лещенковское: «Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди». Соседи запевали патриотическое: «Мы развеем вражеские тучи, разметем преграды на пути, и врагу от смерти неминуемой, от своей могилы не уйти». Жаль, не помню забойный репертуар остальных взводов. Шли, выпятив грудь, крепко сжимая автомат, с разворотом головы и чеканя шаг. Армия – она армия и есть, во всем блеске своей мишуры.

Наконец приняли присягу и вернулись в Питер. В поезде пили и ждали встречи с родными. Мы приехали на Московский вокзал и пошли с Мишкой пить шампанское в ближайшее кафе на Невском. Лагеря закончились. Через курс после нас еще раз посылали студентов-математиков на Кольский. Затем практика этих легендарных военных лагерей канула в небытие.

Часть 6. Зенон Иванович

Зенона Ивановича Боровича я впервые увидел на вводной лекции по алгебре. Я, конечно, знал о нем от моего папы, знал о его роли в моем поступлении, но до этого никогда лично не встречал. Зенон Иванович начал лекцию, держа в руках свою книжку «Определители и матрицы», она как раз недавно, в 1970 году, вышла в печать. Так это и осталось в памяти: 10-я линия, мрачноватое, пока не гостеприимное здание, незнакомая еще большая аудитория матмеха, Борович с книжкой в руке и мы, первокурсники, сидим и слушаем, что такое матрица. Чем не картина из книги Бытия – начало начал всего сущего!

У основного курса алгебры в исполнении Бореви́ча была одна интересная особенность. Он как бы приземлял этот непростой курс, на котором студент впервые сталкивается со многими абстрактными понятиями. Он давал материал досконально продуманными квантами, рассчитывая и выверяя каждую новую порцию знания. Точная, отработанная система изложения, оформленный лапидарный стиль – все это были фирменные «ноу-хау» Зенона Ивановича. Я думаю, что Зенон сумел найти баланс между множеством искушающе новых для студента парадигм и утилитарными целями вводного курса, где все должно обретать плоть постепенно и размеренно.

Я не знаю, насколько хорош такой подход. Все дело в индивидуальных пристрастиях. Мне очень нравилось, но некоторые находили курс слишком заторможенным. Им не хватало энергии, порыва, размахивания руками, прорисовки горизонтов. Многое прояснилось к третьему курсу, когда я стал ходить к Бореви́чу на семинар. А тем временем, в начале, народ сдал курс алгебры спокойно, без завалов и особых мук. Кроме того, Бореви́ч был деканом и вечно ходил по коридорам озабоченный, шевеля усами, с кипой каких-то сиюминутных, но весьма насущных дел.

После распределения по кафедрам, в 75-м или 76-м, я впервые пришел к Бореви́чу на семинар. Мне кажется, что доклад делала Елизавета Владимировна Дыбкова. Бореви́ч сидел и внимательно слушал. В какой-то момент начались обсуждения, и тут я увидел совсем другого человека. Видно было, что тема его затрагивает за живое, что он напряженно думает и совсем не уверен в том, что доказательство сойдется. Что-то там было связано с обратимостью двойки. «Какая ерунда, – подумал я, – ну, обратима двойка или не обратима – что меняется». Но всех этот вопрос интересовал по-настоящему, и семинар вдруг стал ярким и интересным.

На самом деле Зенон Иванович был в это время на подъеме. Долгое время его имя ассоциировалось с классической книгой «Теория чисел» З.И. Бореви́ча и И.Р. Шафаревича. То есть большинство относилось к Бореви́чу как к чистому числовику. И вдруг Зенон Иванович набрел на неожиданную идею получения некоторых структурных теорем для матричных групп над кольцами. Сначала кольца были локальными или полулокальными, ну а затем стало ясно, что за всем этим многое кроется – и пошло-поехало. Бореви́чу повезло: вокруг него сразу же образовалась группа учеников, работавших в одном направлении. Ну, а ученикам повезло с ним. В общем, когда я пришел в семинар, в его работе было море энергии.

Помимо Бореви́ча, в семинаре участвовали Роберт Анатольевич Шмидт, Елизавета Владимировна Дыбкова, Володя (Владимир Абдрахманович) Койбаев, другие студенты и аспиранты, ну и, конечно же, лидировал Николай Александрович Вавилов. Еще будучи аспирантом, Коля сумел распространить идеи Зенона Ивановича на бесконечные горизонты структурной теории групп Шевалле над кольцами. Это было как раз то, что нужно. Сразу мир расширился, вовлекая в себя все новые и новые грани – от классификации конечных простых групп до К-теоретических вопросов. Мне кажется, что Бореви́ч был внутренне очень счастлив тем, что его математика так блестяще заиграла и оказалась востребованной на всех уровнях.

Конечно, будучи заведующим кафедрой, деканом, председателем ученого совета, Бореви́ч бесконечно занимался администрированием. Как сейчас помню, они с Дмитрием Константиновичем Фаддевым сидят за круглым столом на семинаре в ЛОМИ – все на своих выверенных местах – и слушают бесконечную череду докладов, связанных с защитами. Дмитрий Константинович в то время уже отошел от активного администрирования, и всем занимался Зенон Иванович.

Наверное, достаточно рассказов о математике и околomатематике. Зенон был очень интересным собеседником. Его страстью были альпинизм и горный туризм. По-моему, он был чуть ли не кандидатом в мастера по горному туризму. Однажды он мне рассказал, как поднялся в Армении на вершину Арагаца. Не малая горка, снежник, вершина где-то на 4000 с лишним метров.

Поднялся он туда, нашел, как водится, тур, а в нем – записка. В записке сказано следующее: «Если ты 54-летний армянин, приезжай ко мне. Меня зовут Аик Карапетян, приезжай ко мне домой по адресу такому-то. Мы будем с тобой жарить шашлык, пить коньяк и вспоминать, как залезли на Арагац». Боревич решил, что хотя ему не 54 года и он не армянин, но съездить к Карапетяну будет правильно. Он съездил. Все было именно так, как должно было быть: они ели шашлык, пили хороший армянский коньяк и радовались жизни.

Кстати, к Боревичу в те безумные годы не раз приставали по поводу его национальности. Зенон, да еще Иванович, смуглая кожа, неизменные усы, фамилия схожая с «Уборевич» – а были в то время знатоки подобной генеалогии – в общем, к нему приставали. Однажды после очередной выпивки этим занялся Владимир Петрович Шунков из Красноярска. Шунков вообще в подпитии был неуправляем и привязался к Боревичу с сакраментальным вопросом: «Боревич, ты кто???» Зенону это надоело, и он твердо ответил: «По вероисповеданию я католик». В те атеистические времена ответ несколько обескуражил Шункова, и он отстал.

Тамадой Боревич был выдающимся. Это надо было видеть. Он умело вел стол, причем, в отличие от вводного курса алгебры, темп тостирования был бешеный, с хорошим стартовым ускорением. Я перенял его науку: трезвый человек – скучный человек, надо быстро всех расшевелить, вот тогда совсем другое дело. При этом сам он не пьянел, держал градус как скала. Однажды на берегу Черного моря Зенон Иванович уговаривал выпить Александра Юрьевича Ольшанского рог вина. Рог – он рог и есть, поставить его невозможно, и вот Зенон Иванович с рогом наперевес подкатил к Ольшанскому. Дело было на конференции, по-моему, в Батуми. Ольшанский сопротивлялся изо всех сил, говорил что-то про завтрашний доклад, про здоровье, про то, что он просто не хочет... Я думал, ему все же удастся ускользнуть. Но я недооценил Боревича. Он все-таки уломал Ольшанского. За всем этим с одобрением наблюдал Альфред Львович Шмелькин, причем «болел» он не за родной МГУ, а за Питер в лице Боревича.

Можно вспоминать и вспоминать. Для этого нужна хорошая компания, бутылка армянского коньяка и подходящее расположение духа. Сочетание всех этих трех факторов – редкая, драгоценная в наше время вещь. Тем не менее, я думаю, что надо будет найти все же триггеры, которые запустят цепь коллективных воспоминаний, и тогда прошлое выплывет к нам выпукло и ярко.

Оглядываясь назад, я понимаю, как многим в своей жизни обязан Зенону Ивановичу Боревичу. Он сумел протащить меня на матмех сквозь звериный оскал антисемитских вступительных в 72-м, он определил тему моих первых научных пристрастий, он создал некий мир, в котором мы встретились с моим руководителем Николаем Александровичем Вавиловым – и я считаю это великим подарком судьбы. Он, наконец, взял меня в заочную аспирантуру – это дало возможность сотруднику Института мелиорации и водного хозяйства защитить диссертацию по группам Шевалле в царстве абсурда ранних 80-х. Наконец, мы – однокурсники и друзья с его дочерью Еленой Зеноновной, а для меня просто Леной Боревич. Мне кажется, что всю жизнь мы смотрим на многое схожими глазами. Я надеюсь, что эти заметки добавят несколько искренних красок к образу Зенона Ивановича.

Содержание

Часть 1. Поступление.....	1
Часть 2. Общеага	7
Часть 3. Матмех	11
Часть 4. Клуб «Искусство».....	15
Часть 5. Военные лагеря	20
Часть 6. Зенон Иванович	23